

Наш век и условия создания текста

Our century and conditions of text creating

Орлин С.З.

Магистр юридического факультета, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
e-mail: senjamerc@gmail.com

Orlin S.Z.

Faculty of Law Master, Herzen State Pedagogical University
e-mail: senjamerc@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена вопросу о построении другой философии истории, основанной на фундаментальной роли различия в положении речи относительно ситуации современности. Язык, сведенный к единству языковых средств выражения, передает расширение и многообразие способов обращения к языковому опыту. Это – неограниченные возможности интерпретации и дискурсивного синтеза, но имея дело, так или иначе, с тем же самым уровнем языка, невозможно получить результаты описания устройства самого языка, которые могли бы отличаться от описаний любых других явлений в естественных рамках господства высказывания. Пока язык является всего лишь привилегированным объектом познания, мы обречены на языковые апории, прерывающие познание при помощи существования повторения. Решение, согласно автору, находится в расшифровке логики различия. Автор опирается на концепции современной континентальной философии (Хайдеггер, Делез, Деррида, Фуко), чтобы показать, как процедура различия, практикуемая в социальной речи, связана с обликом современной эпохи.

Ключевые слова: современность, историческое, речь, язык, письмо, текст, различие, повторение.

Abstract

The article is devoted to question of constructing an another philosophy of history, founding on fundamental role of difference in speech disposition about the situation of modernity. Language, reduced to unity of linguistic expressive means, reports expansion and diversity of ways to appeal to language experience. That is an unlimited option of interpretation and discourse synthesis, but, dealing with the same level of language anyway, it is impossible to get results of description the language itself gears, which might be different from descriptions of any other phenomena within natural frames of utterance dominance. Until language is just a preferred object of cognition, we are fated to language aporias, interrupting the cognition with existence of repetition. The decision, according to the author, is located in decoding of difference logic. The author relies on concepts of modern continental philosophy (Heidegger, Deleuze, Derrida, Foucault) to show, how the difference procedure, practicing in social speech, is bounded with a shape of modern age.

Keywords: modernity, the historical, speech, language, writing, text, difference, repetition

Новейшее время определяется для нас непрерывающейся невозможностью положить конец ограничениям, определяющим рамочные конструкции бытования и как таковой облик эпохи, выраженный характерной фактурой работы языка. Современная социальная наука обращает внимание на возможность социальной «распаковки» любого феномена

артикулируемой разумности и, даже более того, любых проявлений жизнедеятельности субъекта, демонстрирует наличие в любом из них корня коллективной коммуницируемости. Сегодня она стоит перед задачей реконструирования связи обнаруживаемых ей внутренних направляющих социальной жизни – с границами их существования во времени, с вопросом об историчности современного. Объективно сработавшее на уровне масштабного перестроения социальных дискурсивных конструкций, критическое изменение в этом вопросе могли бы легитимизировать возможность новой эпохи. Однако, если мы готовы признавать такую постановку вопроса, мы должны принять решающим критерием перемен в структуре знания – изменения в условиях и характере научной рефлексии, презентующей предел публично отображаемой когнитивности. Если допустить, что существует метафизическая (опорная для устойчивых коллективных реалий разума) связь, способная обосновать время как некое «единое», то это была бы связь работающих между множеством критически-обобщаемых полей коммуникации и в их пределах детерминирующих структуру этих полей состояний языка. Интеррефлексивная логика, метонимически пронизывающая всю совокупность этих полей, могла бы быть концептуирована в качестве сознания, как его можно было бы понять социально. Для общности процессов формулировки произвольного высказывания, пронизывающей всю институциональную пирамиду знания, характерна изменчивость другого рода, нежели изменчивость «производственных отношений». Язык находится на стороне не отношений, а средств производства. Антропологические исследования, например, экономика растрат Батая, доказывает, что форма контроля над материей образуется в означивании, в определении дистанций, в том, какое место определено материальной стоимости в символической структуре. Стоимость, в сущности, означает иное, нежели количество потенциально вымениваемого блага, её качество – это демонстративная мощь, нестираемая черта неравенства [1; с.191-195]. Концепты конвенциональных онтологий и когнитивных семантик вывели знак на совершенно иные позиции, покинув область представления о языке – универсальном адаптивном инструменте сознания, знак перешел в статус инстанции распоряжения бытием. Сигнатура представляется более не просто «резервуаром», помещающим материал содержания для дальнейшей передачи, она назначает бытийную интенцию любого акта, наделяет его *назначением*, конституирует его направление к *другому*, путь и судьбу в системе знаков. Бодрийяр сумел редуцировать ценность до знака отличия, сигнализирующего не власть и положение в иерархии (как, обычно, по-марксистски это трактуют), а то, что процедура различия здесь всегда уже проведена, знак предлагает засвидетельствовать в себе явление иного качества [2]. Знак является манифестацией вхождения феномена непрерываемую в структуру отсылок, поддерживающую прирост письма.

Совокупное письмо, его расширяющиеся границы – то, что протягивает псевдоподии вариативности все дальше, но остается неизменным в ядре. То, что отходит от рамок лингвистических конструкций: язык не является ни коммуникативной способностью, ни тем, что существует, как аура микроартикуляции «оттенка» речевого жеста. Знак находится со всем этим в отношениях, не описываемых метафизически, он является *другим* по отношению ко всякой метафизике, как смыслу. Знак указывает на акт расположения, на чистую логику отношений, отводит ко всяким условиям соотносимости. Будет недостаточно обозначить процесс формирования речи как некоторое «рассеивание» в рассыпанную, как углубление в дисперсированный спектр феноменов, или некий «фрактальный синтез» – именно в попытке определить этот принцип, как метафизику, он и будет сказываться, уклоняясь за «продукт» мышления и символически раскрываемое содержание, символическое схватываемое переживание «невозможности символического раскрытия» и т. д. Язык определяет структуру повторения и не отсылает к инстанции толкования, напротив, включает возможность толкования в сеть отсылок к языку, означивает её саму, придает ей самой символ, и в результате отсылки к которой как символ отображается и сам субъект. Язык дан только в модусе субъектоцентрирования, на что и указывал Деррида, трактуя метафизику, как

подчиненную избранному центру речевую динамику, стягивающуюся к символу, представляющему единое [4; с. 353]. Как любой символ, он подвергается процедуре *difference*: символ «субъект» (макрокластер речи под грифом «самопознание») оказывается отделен от субъекта, выполняющего функцию места отсылки, которое пытается быть достигнутым, но отклоняется различием от определения каждый раз, возобновляя возвращение, неотступное обращение к фигуре субъекта. Метафизика – есть конституирование всё большего значения, назначенного центром вбирания. Он охватывает аттракцией лингвистические феномены и все, что может быть опознано как «субъективно переживаемый опыт», выступает универсальным коннотатом, то есть тотально формирует относительно своего предмета так называемый «смысл» – совокупное письмо. Деррида отмечает, что разрыв существует между субъектом – когнитивной метафизической данностью, центрированным порядком, предполагающим своей точкой опоры в языке – содержание, некоторое конечное значение (в том числе опирающееся на представление о бесконечности), и субъектом, редуцируемым до пространства пересечения структур, пространства, в рамках которого субъект обозначен некой операциональной динамикой [5; с. 141–143]. Но *difference* – раздваивает не субстанцию и модус, не референт и понятие, не объективное и субъективное, ни действительность и познание, он осуществляет распадение на самореферентную часть знака, то есть артикуляционные возможности языка, «вирус познания», выразительность стремления прорыва к денотату, и – нереферентную часть устройства знака, которая не имеет родства с каким-либо содержанием переживанием, с письмом, но может понята в виде логической схемы, задающей переодический такт перенесения одного символа – в другой, причем порядок, имеющий силу в этой операции безотносительен «смыслу» и суждению. Обобщать этот процесс как некую тотальность сигнификации – это не что иное, как смещение философии в область «логоцентризма», тогда как такое изображение не показывает механизм образования письма. Использование определения, задействующего метафору, возвращает фокус рассуждения обратно к средствам лингвистики и масштабирования символа в предположении за ним «опыта» – закрепляющих за символом еще один символ, тот, что подменяет собой предполагаемое место реальности новой отсылкой, то есть функцией стремления к денотации.

Содержание высказывания демонстрирует собой устремление за позицией вынесения суждения, то есть соотнесения с инстанцией, подразумеваемой под символом, который является главным и господствует над всеми другими символами. А язык, как исторический процесс, характеризует другая онтология: уклонение от интерпретации, бегство от объективации «себя» в качестве символа со стороны взгляда «другого», и в то же время – презентация «себя» как символа для «другого», как единственный выход в пространство текста подлежащего социализации говорящего субъекта.

Письмо, выделяющее поле научного знания, принимает язык как неизменно исчерпывающее, но внутренне обновляемое, описание мира в знаковых системах, оно производит вынесение феномена, как символа или значения – того, за чем следует научный метод, что готово вместить в себя предмет науки. Невозможность признать, что последнее представляет собой символ, закрепляет систему существующего знания в её методологических и предметных рамках. Происходит «торможение» речи, перед опасностью в прозрачности символа обнаружить отсутствие твердого эмпирического (имеется в виду именно, экстаз, предчувствие «досимволического») основания, а вместо коего – чистая последовательность указаний и перестановок, происходит вписывание речи в фигуру повторения. «Торможение» означает, что последовательность отсылок между символами оказывается ограничена, существует символ, который отсылает назад, совершая прерывание определенным образом, и, детерминируя закрепляющей системой отсылок между символами, формирует структуры повторения. Действие *difference* затрагивает и саму природу различия, оно показывает, что различие не сингулярно, но всегда само разнесено между тождеством и различием (всегда присутствует присваиваемый вторым идентичный

символ, указывающий на различное и вынесенное отдельно от идентичного символа поле охвата), различие присваивается определенному тождеству, передается, как власть различать. Действие *difference* на самого субъекта означает внесение различия в процедуру отсылки от других символов к символу «субъект», тем самым формируя некоторое *отстояние*, некоторый промежуток «неданности», присущий всему. Мы не можем видеть действие *difference*, внесение различия действует иначе, чем только как средство дискурсов, практики, подразумевающей постановку властной дистанции. Повторение нужно, чтобы довольствование текстом было достаточным, чтобы практики и установления полностью умещались в полях текста, и ресурс текста стал для них устойчивым и всеобъемлющим. Внесение изменений в режим повторений вменяется не речи, которая самодостаточна, именно потому, что удовлетворяется символом заступления за границу нового, а *историческому*, то есть такому, которое коррелирует с факторами, выходящими за рамки повторения, одновременно определяющее «систему» извне, в качестве ведущего по отношению к эпохе, и изнутри, в качестве соотносимости когнитивных структур с социокультурной событийностью.

Итак, *difference* соответствует задаче установления различия в самой «метафизике различий»: оно пролегает, оставляя по одну сторону – принцип различия, означающий плюральную нелокализуемость знаков, по другую – объективность самого по себе деления знака, деления, не вносящего суждения (вкуса), не наполняющего проведенные границы значением. Различие не между означающим и означаемым, не между означающими, не между потенциальным и актуальным состояниями бытия – различие в структуре знака в том месте, где он, как кажется, выступает атомарным (неделимым) уровнем содержания, денотатом, тождеством. Тотальность речи образована именно коннотацией, абсолютной возможностью связывать любые знаки между собой. Денотативная сторона знака выступает опорой достоверности, но, практически, она сводится к возможности контекстов быть связанными, возможности помещения в окружение конкретного контекста, к точке входа в контекст со стороны другого, точке, делающей возможным пересечение интерпретаций, интертекстуальный контакт, коммуникацию. Речь идет об означающем, как «месте встречи», способностью к смежному соположению означающих в контексте диалога с другим. Самореферентность языка существует только как универсальное производство, как язык, отсылающий одновременно ко всем своим речевым состояниям, но не описываемый ими – то есть мы имеем вопрос о возможности описать его в цельности коммуникативно-речевой практики, обобщаемой в корпусе высказываний.

Но, что держит её в единстве? Хайдеггер упоминает «речь <...> идущую вслед событию» (цит. изм.). Далее он указывает: «молчание, которое люди склонны подчинять говорению как его источнику, есть уже некое соответствие» [9; с. 270]. Обратить внимание стоит на то, что «молчание» можно понимать не просто как некоторую этическую позицию, связанную со сложной психической конструкцией между одержимостью речью («болтовня») и воздержания от речи, как поведения, соответствующего добродетели более пристального продумывания. Правильнее все же будет видеть это антиэтически, то есть видеть в этом подчинении, что отказ от речи принципиально невозможен. Сам жест молчания недвусмысленно артикулирует знак, и этот знак отсылает к коллективно обусловленной форме произнесения или письма, к «сущему». Но самое главное, он отсылает к обязанности говорящего существа перед бытием – говорить. И какой бы аутентичной речь не была, она непрерывна и непоправимо встроена в коллективность, как совместное говорение. Но понимать это нужно в более «близлежащем», *подручном* (Хайдеггер) контексте: молчание – то, чем мы, как нам кажется, являемся помимо «внутреннего диалога», коммуникации или оставлению следа в письменном источнике. Социальная наука современности разглядела в рефлексивном действии повседневности ближайшее коммуникативное поле, это, прежде всего, интуитивное знание процедуры, технически обуславливающей феноменологическое восприятие. Уже на этом уровне действует сложная система символического наименования,

выступающая корневой для общей организации когнитивной сущности субъекта. Но поступок – это уже некий акт учреждения новых социальных связей, коммуникативных «подполей», имеющих замкнутый контур проговаривания, то есть, «ведущий» символ. Этический акт в качестве феномена предьявляет всю совокупность практических установок и внутренней метафизики субъекта, поступок, как интенция к *другому*, представляет собой обращение, символическое послание, репрезентацию себя, как другого. Форма такого обращения – не содержательная, но описываемая через размещение в некоем поле. Оно помещает субъекта в центр обращенности другого. Оно помещает его на место знака, описывающего социообразующую априорность. Это и есть действительная этика, то есть, закон практического и когнитивного поведения. Порядок воспроизведения речи для субъекта, то есть, для существа, действующего посредством говорения, означает порядок логики существования. Этот порядок социален и представлен необходимыми институтами, а значит, представлен и исторически: как след власти. В области исследований Фуко власть изучалась, не просто как самостоятельно действующая сила, но, что важнее – познающая и говорящая, создающая собственный текст. Фуко дал её описание, исходя из «практики» в качестве минимальной единицы формирования истории. Фуко, придававший письму смысл записи в памятнике или документе, видел речь вписанной в практический контекст, обрамленной практикой, заключенной в сегмент повторения. С его точки зрения эта закольцованность, выступающая горизонтом внутреннего содержания – есть историческая предопределенность.

Вопрос времени решался по-другому, например, у Делёза письмо несвязанно и сегментировано только собственной сингулярностью, собственной внутренней мощью различия. Это и должно пониматься Дионисом, экстатической силой единства, допускающей выделение только через связанность более могущественным синтезом. Не случайно, он мыслил о «теле» письма, том, к чему возможно возвращаться, как к неисчерпаемой множественности, не ограниченной какой либо конечностью. Такой конечностью выступает «концепт», то есть произвольное колебание материи знака, осваиваемое бесконечно речью в собственной завершенности, воспроизводящемся состоянии произошедшего, неизменно смыкающем себя в мыслящей субъектности [3; с.43-45]. Конечность всегда является закрытой в нем характеристикой частного, уникального и предельно своеобразного явлением «тела» в срезе времени – *события*. Событие определяет структуру флуктуаций, синтезирующих случайным образом самодостаточные и сингулярные пути и объемы времени. Понятие исторического это истолковывание времени как конечного, а не как вечности, не требующей отчета перед господствующей необходимостью, являющейся только произвольными моментами синтеза знаков. Событие здесь – это определенность, «схваченность», то, что способно удерживать в подчинении силы, заключенные повторением, гомогенным существованием во времени и самообращенностью. Все логические связи субъекта могут быть раскодированы, изъяты «из обращения», заменены в ином сочетании знаков, при условии наличия сил, задающих иную конфигурацию структуре повторения. Синтез инвариантен по отношению к существующим символическим точкам, организующих согласно своему воздействию поток знаков и отсылок к знакам, сами же связи – сингулярны и имеют свою историю, иерархически не подчиненную покровительствующей фигуре «высшей» истории, самостоятельного участия в пространствах продолжающегося синтеза.

Фуко дает свой ответ: объективированы срезы и развертки, имеющие отношение к организации власти в качестве видения. Отношения власти существуют, поскольку субъект организует себя, как объект наблюдения, как объект преобладающего над ним знания, не «выпускающего» его из под надзора интерпретации. Повторение, преемственная репликация практики, служит ограничением сцены, на которой субъект умещается в центр незримого внимания и подчиняется наблюдаемости. Фактура речи, пронизанная установлением вертикальных разграничений: менторская и внимающая, распоряжающаяся и призванная к

отчёту, допрашивающая и доносящая – закон обращения с речью и есть закон языка, его форматов, укорененных в повторении. Он пишется, дабы поддерживать перманентное напряжение власти, следовательно, пишется через разнесение частей практической рациональности субъекта по инстанциям, обособленным дистанцией власти. Он исторически детерминирован, поскольку условия материального бытия людей требуют изменения форм коллективной вовлеченности во имя всеобщего проникновения власти, её баланса. В то же время, он историчен, поскольку он подвержен непрекращающемуся процессу «прилаживания» структур субъекта, ассиметричных ввиду самой сущности власти. Противоречие есть различие, начертание разграничительной линии. Совокупность схем их проведения – это не что иное, как система знаков, имеющая доступ к событию, направляющая к нему, презентующая его «волю», репрезентируя обратную сторону знака, его властный референт.

Вопрос об определении границ современности связан с возможностью идентифицировать время качественно. Историзм или концепт парадигмальных переходов либо признает последовательный прогрессивизм истиной, либо требует революции. Поскольку, революцию он предполагает предельной точкой, не подмечая двусмысленность языка, предпосылающего выразительность изменения во благо сохранения, он совершает приношение наличному сущему, усиливая сказанное аспектом политической воли. Континентальная философия же четко намекает на то, что она способна усматривать невозможное не в качестве удерживающего социальную метафизику «должного» стремления постигать, а в качестве «молчания», отказа субъекту в заявленном, причем этот отказ имеет характер не некоего дополнительного элемента по отношению к действию, не некую прибавку на конце, а неотъемлемую логическую позицию подлинной целесообразности. Отказ субъекту в желаемом призван закрепить в законе (знаке), именно наличие, а не отсутствие, активизируя метафизику «присутствия», он закрепляет неизбежность возврата к отмеченной точке. В текстах европейской структурной философии уже обозначен познавательный императив: фиксировать момент разрыва. Предшествующая, основанная на марксизме и клиническом дискурсе традиция самокритики, всегда готова обозначить сколь угодно глубокий список погрешимостей и нераспознанной скрытой мотивации, однако неспособна радикализовать метод до оперирования самим различием, как первичным актом по отношению к бытию субъекта. Оно не дает в распоряжение субстанцию, скорее всюду демонстрирует её «неданность», замещение и отстранение и, поскольку, существуют антиномии, разводящие язык в разные модусы функционирования знака, время, подытоживаемое в этом знаке, не может быть завершено в одном направлении.

К примеру, концепт «незавершенного проекта модерна», воспринимаемый социально-критически, как противостояние фундаментальных принципов понимания, как поочередные победы и поражения, и потому, как невозможность разрешения ситуации современности [7]. Возможно, этот тезис стоит понимать на еще более деконструктивистский манер: современность – еще не является разгаданным принципом, несмотря на внешние признаки его долгого исторического господства. Он был не до конца сформулирован возможностями тех средств, которые предоставила научно-техническая история действия. Вместо этого, модерн использовал эти средства не для познания собственных заявленных идеалов, а как техническую мощь усиления уже достигнутых промежуточных и ошибочных результатов и возведение их в степень новой метафизики. Об этом свидетельствует та настойчивость в «продавливании» будущего установками «актуальной» рациональности. Ей противостоит с той же технической силой порожденная воля к отрицанию, ко все более глубокой реакции и уничтожению уже проведенных границ, образованию новых символических полей на основе стирания (буквально – стирания текста) закрепленных прошлым завоеваний. Модерн вместо довершения заявленной революции познания «сворачивается» во все новые витки реакции, являющейся основой нигилизма. Бессмертные противоречия предотвращают тождество, предотвращают заверщенное состояние, как таковой модус разрешения ситуации, но

мобилизуют силу в сохраняющем удерживании. Совместно действует некая «другая» современность, которая артикулирована иным образом, нежели вычитывание бытия из символов, размещаемых в центре проекта модерна. Она действует как обременительность всех начинаний времени, выражаемых на естественном субъекту языке, невозможностью их завершения и переходу в качество, представленное речью. Противоречия, действующие в корневой материи произнесения анализа ситуации и принятия решений, лежат в основе исторической проблемы, понимаемой через «незавершенность».

Смыслы самодостаточны, фиксируемые привязкой к символу субъекта, олицетворяющего границы означивания. Данность письма самому себе рождает игру углубления и подчеркивания граней, странную ненасытную огранку, непреклонное оттачивание готовой фигуры, игру с неисчерпаемостью предложенного историей предметного содержания, состояние упора в собственное не отводимое от глаз отражение. «Постмодерн» существовал только в том смысле, что он был заявлен как преждевременная готовность в условиях еще не понятого модерна. Как корпус текстов, он представляет собой техническое знание, не получившее должной интерпретации из-за подлинного давления объективно-действующего времени, держащегося путей прежних идеалов. В этом смысле, ими предложен более современный концепт революции, но, как и положено революции – не быть совершенной в эпоху, давшую ей корни. Стоит всегда делать поправку на специфичные условия генезиса характерной формы письма, сохраненной в такой литературе, а так же, на то, что за воля проявляется таким образом? «Постмодерн» существует как усиление инструментов самопонимания, претендующее на вышестоящий уровень рефлексии по отношению к позиции его интерпретатора. Пока этот разрыв позиционируемых инстанций не преодолен, невозможно другое время, если, конечно, исключить роковой фактор «события», революции несвоевременности, не захваченной пленом сущего.

А значит, мы можем предположить об ином устройстве раздела времен, нежели мы привыкли дискурсивно ретроспектировать. Все возможные и классифицируемые разным образом описания событий прошлого, представляют собой не закрытую сингулярность, а открываемое и поддерживаемое свидетельство в памятнике или самом жизненном укладе. Не случайно, чем дальше по ходу современности, тем интенсивнее автоматическое смешение и наложение контекстов. Системы прошлого – инертны, они оседают в припоминании и наследуются в культуре, они имеют собственную власть притяжения, которая вносит противоречие в однородность свершаемого «современного». Времена не идут друг за другом, но «вложены» друг в друга, проживаемы друг другом на уровне фатального и остро переживаемого противоречия друг другу, на что намекает непрекращающаяся сущность полемики. Они недвусмысленно даны во вражде ценностей, но в ней же они подменяются внешним противоречием, критикой, «одержимостью» содержанием. Многоукладность, в которой презентировано это различие, дает понять, каким влиянием на облик жизни и мысли может обладать неравномерное развитие, спровоцированное разломом не между различными аспектами некой «целостной» разумной жизнедеятельности, а разрывом с несуществующим местом, где речь отвечала бы предпосланной её же собственной претензии на непротиворечивое совпадение с бытием. Структуралистской философии принадлежит заслуга обращения внимания на текст, как силу, на концентрацию в нем власти, его мобилизационное назначение, приводящее речь в катастрофическую активность. Эта традиция предвидела необходимость методологии в условиях наводнения текстом, помноженного на технические возможности репликации знака, сочетающие акселерацию производства текста и минимизируемое вмешательство операции различия в последовательность символов. Ницше рисует картину «последнего человека», как ситуацию круговращений дискурса фундаментальных понятий, не ожидающих себе ответа [6; с. 11]. Время последних – есть не что иное, как штиль остановившегося самопревосхождения языка, абсентеизм вызова новому событию, бессвязная артикуляция символа, не отсылающего ни к чему, что бы превосходило этот собственный уровень в «воле к власти».

Этот же феномен, вероятно, имел в виду Хайдеггер, уподоблявший умалчивание бытия – техническому потоку информации, предлагающему прямой доступ к искомому денотату, усугубляющему напор скрывающего вскрытия сущего, выделенного в контексте определенного рода причинности [8; с. 231]. Причинность означает выделение «предшествующих» в родовом смысле знаков, и вынесение их в область метафизики сущего, удерживающего те или иные состояния своим господством. Система отсылок языка, недостаточная, чтобы разглядеть положение, в котором видимость разрыва, и последующая за ней отрицающая диалектика (нигилизм) – перекрыты употреблением языка, в котором сам акт различия уже не будет различим. Разумной будет трактовка события через неподлежащее завершению, не создающее различия, иного состояния, суть – возвращающее. Оно воспрещает эсхатологическое влечение текста, притягиваемое символическим продуктом процедуры различия.

Любой возможный эксцесс из процесса воспроизводства культуры на основе самоподобия дополняет его заведомо неучтенными переменными, что действительно делает в различной степени неудовлетворительными попытки исчерпывающего описания многослойных границ процесса через культурологический опыт и компаративистику, но не подрывает интуитивного понимания существования таких границ. В этих неясных границах сборная практика жизни обустроивается в объемах, ограниченных только долговечностью практического уклада, генетически-подобным себе знанием. При этом неоднородность такого самопонимания, условная амплитуда герменевтического проникновения в тело исторически сложившегося общества, при достаточных ресурсах к преодолению кризисных тенденций, обобщается в большую однородность, в большую идейную непоколебимость общества. Уместно сказать, что культура выполняет функции, заложенные в своем первоначальном значении: это обработка, оснащающая человеческий ресурс комплексом качеств к обновленной готовности производить богатый продукт жизнедеятельности. Это единство теории и практики, с переменным успехом воссоздавая историческое могущество материнского себе цивилизованного конструктора, аккумулирует и обилие противоречий, складывающиеся в аутичную по отношению к актуальной истории позицию культуры. Обнажая и трактуя свои многочисленные аспекты, культура с равнодействующей силой скрывает, оправдывает, укореняет себя, как единый исторически предопределенный феномен. Культура спасает себя от будущего, приходящего, как новое различие, расщипляющее и разрушающее вменением антиномий.

Диверсификация смыслового содержания, заполнение множества образующихся культурных ниш, при том, ни одна не вмещает в себя явление исторически значимого символа. Они образуются и срастаются с общим массивом текста, но нет в них сродства с событием, которое надрыгает порядок самосоответствия, и общий ток духа в истории индифферентен им в той же степени, в какой он не был индифферентен Канту или Гегелю, Ницше или Марксу. Тишина «великих нарративов». Невозможность обоснования проекта, который «подцепил» бы бытие во времени, и придал бы революционное ускорение, не сводимое к экстенсивному возрастанию техники, а приводящее к вычищению нигилизмом онтологии и теории познания. Нескончаемость являет собой диалектику длящихся состояний: *синтезис (становление)* – онтологически превосходящая преобразующее ничто в устойчивости ипостась сущего. То, что существует, то есть противостоит отрицанию, противостоит необратимости различия. Модерн всегда был верен заявленным направлениям, но в нем недостаточно проявилось их отрицание, он оказался не достаточно радикальным, чтобы преодолеть заложенные в его секюлярной идеологии ограничения, он не видит различия, делающего возможным его наличное бытие.

Литература

1. Батай Ж. Проклятая доля / Перев. с фр. Б.Скуратов, П. Хицкий – М.: Изд. Гнозис, 2003. – 208 с.

2. *Бодрийяр Ж.* К критике политической экономики знака = Pour une critique de l'économie politique du signe : [ориг. изд. 1972] / пер. с фр. Д. Кралечкина (2003). — М. : Академический проект, 2007. — 336 с.
3. *Делёз, Ж., Гваттари, Ф.* Что такое философия? [Текст] / Жиль Делёз, Феликс Гваттари; перевод с французского С. Н. Зенкина. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. — 286 с.
4. *Деррида Ж.* Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Деррида Ж. Письмо и различие. СПб: Академический проект, 2000. — С. 352–368.
5. *Деррида Ж.* Differance.// Гурко Е. Тексты деконструкции. Томск: Водолей, 1999. — С. 124–158.
6. *Ницше Ф.* Так говорил Заратустра// Ницше, сочинения в 2-х томах, том 2, издательство "Мысль", М.: 1990. — 829 с.
7. *Хабермас Ю.* Модерн – незавершенный проект// Политические работы. Сост. А.В. Денежкина; пер. с нем. Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2005. — С. 7–31.
8. *Хайдеггер М.* Вопрос о технике// «Время и бытие» (статьи и выступления) пер. Бибихина В.В.- М.: Республика, 1993 — С. 221–238.
9. *Хайдеггер М.* Путь к Языку // «Время и бытие» (статьи и выступления) пер. Бибихина В.В.- М.: Республика, 1993. — С. 259–273.